

Галина Комарова

О самой лучшей «награде» антропологической работы¹

Бинарное интервью представляет собой фрагмент моего проекта «Женский портрет в научном интерьере» и в определенной мере является продолжением интеллектуальных дискуссий, активно проходивших в начале 1990-х гг. на страницах журнала «Этнографическое обозрение» под рубрикой «Размышления о судьбах науки». По теме проекта уже имеется ряд публикаций, в том числе и в журнале «Антропологический форум» [Комарова 2007а; Комарова 2007б; Комарова 2011].

Участницы этого интервью — Жанна Кормина и Каарина Айтатурто.

Жанна Владимировна Кормина (далее — **Ж.К.**) — кандидат культурологии, зав. кафедрой Научно-исследовательского университета — Высшая школа экономики (Санкт-Петербургский филиал), научный сотрудник Центра антропологии религии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Она окончила исторический факультет Уральского государственного университета, затем — аспирантуру Европейского университета в Санкт-Петербурге (факультет этнологии, ныне — антропологии). Круг ее научных интересов составляют вопросы исследования православного

Галина Александровна Комарова
Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
galakom@mail.ru

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 10-01-00105А.

паломничества, современной агиографии и почитания святых, харизматических течений в христианстве, социальной памяти, а также антропология границ. Научные работы Жанны Корминой публиковались не только в России, но и за рубежом: в США, Эстонии, Франции, Германии.

Каарина Айтатурто (Kaarina Aitamurto, далее — К.А.) — PhD, научный сотрудник Aleksanteri Institute University of Helsinki. Она закончила кафедру религиоведения гуманитарного факультета Хельсинского университета и стала магистром философии, после чего поступила в аспирантуру и на работу в Александровский институт, который является национальным центром по изучению России и Восточной Европы в Финляндии. Каарина Айтатурто состоит в Финском обществе исследования России и Восточной Европы и в Обществе религиоведов Финляндии. В круг ее исследовательских интересов входят социологическое изучение религии, альтернативные религиозные движения и национализм. Труды К. Айтатурто опубликованы как в Финляндии, так и за рубежом (в России, Англии, Франции и Словакии). Таким образом, научные интересы участниц интервью во многом совпадают, а экспедиционные маршруты пересекаются: их основным исследовательским полем служит Россия.

Жанна Кормина и Каарина Айтатурто — еще молодые (по российским академическим меркам), но уже сложившиеся и признанные в своей области знаний специалисты, имеющие значительный опыт полевой работы и разработки серьезных исследовательских проектов. Их интервью, с одной стороны, автобиографичны и в какой-то степени представляют собой «историческую» форму самовыражения, своеобразный опыт саморефлексии, в чем и заключаются их особый интерес и несомненная ценность. С другой стороны, внимание ученых к собственному индивидуальному опыту открывает новые исследовательские перспективы, предлагает неожиданные прецеденты, обеспечивает ощущение непрерывности научного процесса, что придает автобиографическому взгляду на любые события, факты, явления неповторимый ракурс. Такой многогранный и своеобразный подход, на мой взгляд, позволяет глубже осмыслить различные проблемы профессионального научного сообщества и лучше оценить состояние отечественной науки.

Надеюсь, что размышления двух ярких представительниц российской и финской социогуманитаристики — Жанны Корминой и Каарины Айтатурто¹ — о судьбах современной науки

¹ Каарина Айтатурто отвечала на мои вопросы на английском языке. Перевод с английского языка осуществил В.В. Комаров. Тексты письменных интервью Жанны Корминой и Каарины Айтатурто отредактированы и согласованы с респондентками.

заинтересуют их коллег и внесут свою лепту в развитие такого нового для российской науки направления как антропология академической жизни.

Галина Комарова (далее — *Г.К.*) *Расскажите, пожалуйста, о себе и о своем пути в науке.*

К.А. Насколько я помню, я всегда принимала как само собой разумеющееся тот факт, что, окончив школу, я обязательно поступлю в университет. Но сложилось так, что после школы у меня был период, когда я работала на временных работах, путешествуя по Европе и обдумывая, что делать дальше. Вначале я хотела поступать на философию, но в конце концов подала документы и поступила на археологию. Однако дополнительные предметы — социология, сравнительное религиоведение и изучение России — оказались несколько странными в контексте археологии, и я постепенно поняла, что больше всего меня интересует исследование современного общества. Когда я защитила дипломную работу по религиоведению на кафедре сравнительного религиоведения Хельсинского университета, то была уже уверена, что хотела бы продолжить изучение современного общества и религии. В Александровском институте — центре по изучению России и Восточной Европы — я занимаюсь социологическим исследованием религии. Особенно меня интересуют альтернативные религиозные движения и национализм. Тема моей диссертации — религиозное движение «Родноверие».

Ж.К. Я не планировала быть ученым — так сложилось. Я закончила сельскую школу в Свердловской области с традиционным для таких школ прочерком в аттестате по иностранному языку. Закончила, правда, с золотой медалью; это позволило мне поступить в университет (Уральский государственный) с одного экзамена: им было сочинение, и помню, что писала я что-то политически-романтическое по Маяковскому. Год был 1989-й, и, кажется, все, и я со всеми, поступали тогда на исторические факультеты. Во время учебы в университете наука представлялась мне чем-то предельно скучным и невозможно сложным, уделом высоколобых мальчиков не от мира сего, в которых тыкали пальцем в коридорах факультета, — этаким антижизнью. Учили нас хорошо, но наука виделась мне тогда миром закрытым, недостижимым и не особенно желанным. Мне очень повезло, что открыли Европейский университет и что я туда попала.

Г.К. [Вопрос Каарине] *Какие жизненные (научные) пути привели Вас в Россию (СССР)? Как и почему Вы начали заниматься нашей страной?*



Каарина Айтамурто в венке. Купало, Ленинградская область, 2006 г.



Купало, Ленинградская область, 2009 г.

[Общий вопрос к Жанне и Каарине] *Кто или что повлияло на выбор тематики ваших исследований? Как вы впервые попали в экспедиционное поле?*

К.А. Я начала изучать русский язык в школе: это был выбор моих родителей. В 1980-е гг. я бывала в Советском Союзе в составе школьных групп, а также провела две недели в пионерлагерях в Ярославле и Костроме. После окончания школы, в начале 1990-х, я не испытывала большого желания приезжать в Россию. Причиной этого было то, что посещения Советского Союза были всегда очень официальные. Например, я помню, как мы в возрасте 12-ти или 13-ти лет провели несколько часов в полном народе музее Ленина на подробной экскурсии, которая нам, подросткам, казалась очень скучной. Вот почему я предпочитала путешествия по странам, в которых чувствовала себя свободнее и сама выбирала, что мне интересно и где я хочу побывать. Тем не менее в университете я выбрала изучение России и Восточной Европы в качестве дополнительного предмета, так как меня все равно интересовали, можно даже сказать завораживали, российская культура и история. Мой диплом был посвящен финским участницам движения «Уикка» (“Wicca”). Изначально я выбрала такую тему, поскольку это движение так отличалось от традиционных религий, что меня

заинтриговало, как современные «ведьмы» конструируют феминистскую духовность. Однако для докторской диссертации эта тема представлялась слишком маргинальной. Читая иностранную литературу по Уикка, я наткнулась на несколько коротких свидетельств того, что они могут существовать также и в России. Однако ни один из авторов не указал ссылок на исследования российских Уикка, поэтому я решила, что наткнулась на белое пятно в науке и что это хорошая тема для докторской диссертации. Я стала искать какую-либо информацию в русском интернете (Рунете) и съездила в Санкт-Петербург в поисках материала. Мне не удалось найти ничего о российских Уикка, и я решила несколько изменить тему, но в каком-то смысле вновь открыла для себя Россию, можно даже сказать, что я вновь в нее влюбилась. Интересующая меня тема была весьма неполно отражена в литературе, и казалось естественным дополнить работу полевыми материалами и интервью. Основные полевые исследования методом включенного наблюдения я вела в Санкт-Петербурге, но работала также в Москве, Калуге и Омске, где проводила интервьюирование. Помимо этого в Москве я также принимала участие в неоязыческих ритуалах.

Ж.К. Я стала антропологом, потому что поступила на факультет этнологии (теперь антропологии) ЕУСПб, а туда я попала практически случайно. Единственная тогда моя питерская подруга (я только что переехала из Екатеринбурга по причинам, не имеющим отношения к моей академической жизни, и маялась, не зная, чем себя занять) рассказала, что ходит на лекции к такому замечательному Байбурину в такое новое место — Европейский университет. Я попросила ее взять меня на эти вечерние курсы, и в результате через год мы обе поступили в ЕУ, став аспирантками первого набора. Тогда я впервые столкнулась с семиотикой культуры, звучавшей для меня, выпускницы традиционного исторического факультета, который обучал добротной позитивистской истории, по меньшей мере странно. Я слушала и не верила, мне все время хотелось спросить: а почему Вы так думаете? Как доказать, что существенные для культуры бинарные оппозиции именно такие, а не какие-то иные? Верно ли мы прочитываем «культурный текст», не сочиняем ли? Как верифицировать наши предположения? Множество вопросов такого рода оказались интеллектуальными крючками, которые зацепили меня. В результате диссертацию я написала как раз по семиотике культуры — про обряды проводов в армию в России «классического этнографического» периода.

Тогда на факультете писали этнографические и фольклористические работы, и была традиция ездить в «большую экспедицию» куда-нибудь в Новгородскую область — своего рода длительный летний полевой семинар, где отрабатывались техники опроса,

ведения дневника и, конечно, велись бесконечные научные дискуссии. Экспедицию придумали Сергей Штырков и Саша Панченко, оба бывшие археологи, внесшие в нашу полевую практику некоторые элементы археологической экспедиции. Это выразилось в точности фиксации материалов и стремлении проводить тотальные исследования, чтобы не упустить никакой важной находки и чтобы был виден «культурный разрез». Мы стремились опросить всех жителей деревни, задавая им одни и те же темы для беседы и следя потом за жизнью фольклорных сюжетов, изменением нарративного репертуара и связью его со степенью и формами социальной включенности информанта в сообщество. И сейчас, занимаясь другими темами, мы никогда не ограничиваемся интервью с так называемыми «экспертами», а стремимся получить разные мнения и опросить людей, занимающих разные позиции в сообществе.

Г.К. Кого Вы считаете своими учителями в антропологии?

К.А. Мои представления об антропологических исследованиях в основном сформированы профессором Рене Готони. Это специалист по герменевтике, который научил меня внимательно слушать и обращать внимание на контекст речи. Школа герменевтики исходит из того, что исследователь уже имеет предварительные представления и гипотезы, выезжая в поле, и проверяет их в ходе полевой работы. Вместе с тем, отправляясь в поле, исследователь должен «вынести за скобки» свои представления, чтобы быть достаточно чувствительным к словам и мнению тех людей, которых он пытается понять. В конце герменевтического цикла исследователь возвращается домой, пишет отчет и таким образом дистанцируется от данной темы. Из классиков антропологии я бы отметила постмодернистскую антропологию Ренато Росальдо и его идею важности личного опыта для понимания предмета.

Ж.К. Мои учителя — это, прежде всего, профессора, у которых я училась в Европейском университете и которые, мне кажется, потом чему-то учились у нас, своих первых аспирантов. Назову Н.Б. Вахтина и Е.В. Головки, открывших для нас через социолингвистику дверцу в американскую антропологическую традицию, и, конечно, А.К. Байбурина, учившего изящно мыслить и всегда держать высокую планку. Многому я научилась в счастливо сложившемся вокруг факультета антропологии (тогда этнологии) ЕУСПб молодом академическом сообществе: мы вместе проводили конференции, издавали сборники, внимательно читали черновики статей, а потом и книг друг друга, ходили друг к другу на доклады и критиковали безжалостно. Другим источником пополнения знаний и приобретения профессиональных навыков для меня, как и для всех моих



Паломничество
к сельской святыне.
Ж. Кормина;
Ленинградская область,
2002 г.



Этнографическая экспедиция факультета
этнологии Европейского университета.
Ж. Кормина, М. Хаккарайнен
и Е. Мигунова; д. Заделье
Новгородской области, 1999 г.

владеющих английским языком друзей и коллег, стали конференции, летние школы и стажировки за границей.

Г.К. Выдающаяся представительница американской антропологии, бывшая в 1966–1967 гг. президентом ААА, Фредерика де Лагуна считала, что «антропология отличается от других научных дисциплин. Это — образ жизни». Подтверждается ли это наблюдение в Вашем случае или на примере Ваших коллег?

К.А. С некоторыми оговорками, это, видимо, так. Работа антрополога в поле предполагает готовность исследователя «вживаться» в разные культуры и образы жизни. С другой стороны, многие ученые занимаются антропологическими исследованиями только на определенном этапе своей карьеры, и для них, видимо, антропология не является «образом жизни».

Ж.К. Про себя тут говорить трудно, себе себя не видно. В моих антропологических коллегах и друзьях я вижу, пожалуй, необычно высокую степень толерантности к разного рода «чужому». Может быть, стоит еще отметить демократизм, способность полноценно общаться с людьми из разных социальных групп, готовность путешествовать и способность жить и работать в условиях минимального комфорта. В качестве особого профессионального качества я бы назвала ироничность.

Г.К. В 1920–1930-е гг. советские этнографы после окончания университета уезжали в изучаемую группу на «этнографический стационар» и годами занимались там не столько исследованием культуры, сколько практической работой, оказывая разнообразную помощь местному населению. В результате многие уходили из профессионального поля, переставали быть этнографами. Известны ли Вам такие случаи в истории антропологии?

К.А. Не слышала о таких случаях, но риск «стать своим», безусловно, существует в сравнительном религиоведении. Видимо, наибольшему риску подвергаются студенты и аспиранты, занимающиеся религией, которая близка им лично. Мне известны случаи, когда некоторые аспиранты становились, например, приверженцами буддизма или индуизма.

Ж.К. Такие случаи мне известны, но не в России. Активная социальная позиция, выражающаяся в стремлении делом помочь изучаемой группе, вообще свойственна и британским, и американским антропологам, в том числе и молодого поколения. Один мой кэмбриджский знакомый планировал после защиты диссертации поехать к своим информантам и работать в общественной организации, осуществляющей там гуманитарную миссию. В России же мне приходилось сталкиваться с другой стороной той же медали — «синдромом Кастанеды», таким увлечением изучаемой традицией, которое приводит к утрате дистанции между исследователем и объектом исследования, потере идентичности ученого. Те несколько случаев, что известны мне, связаны с личными кризисами ученых (неизлечимая болезнь близкого человека, например) и некритическим отношением к изучаемой магической или религиозной традиции. Результатом становится, скажем, проведение такими псевдо-антропологами семинаров, обучающих шаманским практикам. Аналогичная особенность есть у некоторых русских мигрантов или их потомков, изучающих современное православие: наверное, не стоит делать предметом своего исследования базовую составляющую собственной идентичности, поскольку отстраненная критическая позиция в таком случае невозможна.

Г.К. Традиция длительного этнографического стационара, которой всегда славилась российская этнографическая наука, в последние десятилетия оказалась прерванной по целому ряду причин. Ныне ведется дискуссия о необходимости ее восстановления. Одни считают, что длительная (от 6 месяцев до 2-х лет) полевая работа (в том числе и «в качестве сельского учителя в среде изучаемого народа») не только полезна, но и необходима¹. Другие утверждают, что в современных условиях непрерывное (более

¹ См.: [Тишков 1992: 11].

2–3-х месяцев) пребывание в поле «непродуктивно по чисто профессиональным причинам»¹. Является ли длительный этнографический стационар обязательным элементом профессионализации и творческой деятельности финского исследователя? Каково Ваше мнение на этот счет?

К.А. В условиях современной городской цивилизации уже невозможно участвовать в жизни изучаемого народа так, как это было, например, во времена классической антропологии. Из-за сложности получить долговременное финансирование не всегда удастся проводить в поле много времени. Все же исследователь должен иметь возможность получить хорошее представление об изучаемом предмете и, особенно, границах исследования. Пары месяцев может не хватить для того, чтобы глубоко вникнуть в жизнь определенной культуры или сообщества. Вот почему мне трудно согласиться с утверждением, что оставаться в поле дольше трех месяцев непродуктивно.



Макоши встреча, Ленинградская область, ноябрь 2006 г.



Купало, Ленинградская область, 2006 г.

¹ См.: [Басилов 1992: 14–15].

Ж.К. Думаю, это очень полезно. Мои американские и британские антропологические приятели так и поступают, но для них длительность пребывания оправдывается и необходимостью изучения языка. К сожалению, многие мои российские коллеги попросту не могут позволить себе роскошь длительного этнографического стационара: мы преподаем и выполняем массу других профессиональных обязательств, препятствующих таким длительным отъездам.

У меня самой не было по-настоящему длительной экспедиции: самая длинная — два месяца. Причиной тому особенность моего поля: я занимаюсь *anthropology at home*, «домашней антропологией», т.е. исследую свое собственное общество. Скажем, мой проект по паломничеству предполагает кратковременные отъезды с группами паломников, регулярное посещение храмов и церковных книжных лавок, православных выставок, регулярное чтение определенных интернет-ресурсов и тому подобную деятельность, не требующую длительной этнографической экспедиции. Но я уверена, что этнографический стационар исключительно полезен, особенно на этапе обучения антропологов.



У сельской святыни «Пещерка», 2000 г.
Этнографическая экспедиция факультета этнологии
Европейского университета.
А. Панченко, Ж. Кормина, В. Макарова, М. Хаккарайнен

Г.К. Изучали ли Вы в студенческие годы «Методику полевых исследований»?

[Вопрос к Каарине] Преподается ли будущим финским антропологам подобный курс?

К.А. Я слушала курс сравнительного религиоведения, а не антропологии, и на нашем отделении курсы, посвященные



Паломники у могилы Матронушки-босоножки.
Петербург, февраль 2011 г.

полевой работе, организовывались непостоянно и были факультативными. Я не слушала специализированного курса по полевой работе, но методы такой работы обсуждались в рамках других курсов.

Ж.К. Я не проходила специальный курс по полевой работе, если не считать выездных полевых семинаров, о которых я уже упоминала.

Г.К. Российский/советский этнограф, подолгу работавший в одном и том же этнографическом поле, обычно становился другом изучаемой общины: учил, лечил, решал социальные проблемы, оказывал гостеприимство и самую разнообразную помощь своим респондентам. Но это, как правило, не рефлексировалось самим исследователем как исследовательская работа. Продолжаете ли Вы общение с Вашими информаторами «во внерабочее время», вернувшись из поля? Известно ли Вам о существовании подобной практики среди финских исследователей? И можно ли рассматривать ее как продолжение этнографического поля?

К.А. Я обсуждала эти темы со своими коллегами. Некоторые из них, особенно те, кто изучает дискриминируемые группы или, например, добровольные общественные организации, не считают неэтичным предоставлять какую-либо нематериальную или даже небольшую материальную помощь этим людям. При этом в своих отчетах исследователи сообщали о сделанном ими выборе и тех результатах, к которым он их привел. В настоящее

время у меня уже накопилось достаточно материала для докторской диссертации, но я все равно еще иногда выезжаю в поле. С одной стороны, чтобы оставаться в курсе того, что происходит в изучаемой религиозной группе. С другой стороны, мне нелегко отказаться от полевой работы. За прошедшие годы я подружилась с некоторыми своими информантами и считаю нетактичным по окончании работы прерывать с ними дружеские отношения. Например, одна из российских информанток была у меня в гостях в Финляндии, и я считаю ее визит скорее дружеским, чем деловым. Вряд ли существуют однозначные правила полевой антропологической работы, и разница между информантом и другом нередко оказывается размытой. Хотя рано или поздно я, безусловно, перестану посещать эту группу, но искренне надеюсь сохранить хорошие отношения с некоторыми из тех людей, с кем я познакомилась в поле.

Ж.К. У меня нет опыта поддержания отношений с информантами не в поле, может быть потому, что дистанция между мною и ними минимальна: я работаю главным образом среди русских, горожан. По моим наблюдениям, такие отношения сохраняются в тех случаях, когда граница и разница статусов или культур между исследователем и информантом очевидна и потому беспроблемна. Так, у моей коллеги, занимающейся одним народом Севера, информанты останавливаются в квартире, когда приезжают в Петербург; к другой, французскому антропологу, которая живет в Германии, некоторые ее русские информанты приезжают погостить; т.е. имеет место реализация принципа реципрокности. У меня пока такого не было; может быть, дело и не в дистанции, а во мне лично — люблю и охраняю свою частную жизнь.

Г.К. За всю историю науки лишь немногим антропологам удалось достичь полного погружения в изучаемую группу. Даже легендарный Н.Н. Миклухо-Маклай, имя которого носит наш институт, так и остался для папуасов Новой Гвинеи «Человеком с Луны» и «чужаком». Как Вы думаете, что необходимо для того, чтобы стать «своим» для изучаемой группы?

К.А. Для меня были полезны недавние дискуссии антропологов о ролях *свой/чужой*, поскольку я и сама серьезно обдумывала этот вопрос. Исследователь никогда не бывает ни стопроцентно *своим*, ни полностью *посторонним*, так как мы являемся носителями нескольких сосуществующих идентичностей, таких как, например, этническая принадлежность, пол, возраст или уровень образования. Однако я хочу вновь подчеркнуть важность четкого осознания границ своего исследования, что и является единственным путем избежать недопонимания. Думаю, что серьезную опасность представляет ситуация, когда



Петербург, масленица 2007 г.



Петербург, святилище Перуна
(снесено в апреле 2007 г.)

исследователь забывает, что существует разница между его личным опытом и опытом его информантов. Вместе с тем завоевать доверие информантов, безусловно, необходимо для удачного исследования. Здесь, очевидно, не может быть однозначного решения, и всегда существуют факторы, в отношении которых антрополог не властен. Например, женщины обычно более охотно говорят о семейных делах с женщинами, чем с мужчинами. В России я замечала, что, поскольку я финка, ко мне нередко относятся как «к почти нашей». Иначе говоря, часто предполагается, что финн по определению более способен на понимание и сочувствие, чем западноевропейец или американец. Само собой, бывают также случаи, когда люди считают, что, будучи иностранкой, я не способна понять русских и Россию. Часто я удивлялась, насколько открыто со мной говорят люди. В то же время мне, например, не сообщали о наиболее вопиющих случаях дискриминации или о своих политических убеждениях.

Ж.К. Не думаю, что вообще нужно становиться своим в изучаемой группе. Выстраивая отношения в поле, как и в жизни вне полевой работы, мы эксплуатируем общий культурный опыт, который есть у нас с нашими визави: возраст, пол, этничность, образование, семейный статус, увлечения, какие-то специфические культурные знания. Моя специальность — антропология религии, и в любой религиозной группе, где я работаю, мне

пришлось бы либо лицемерить, притворяясь, скажем, православной или «принявшей Иисуса в свое сердце», либо действительно менять свою религиозную принадлежность в зависимости от того, какой группой я занимаюсь. Особенно трудно мне работать с православными, ожидающими от меня, русской, автоматической принадлежности к православной церкви. Но если относиться к религиозной культуре как системе значений, языку, на котором мои собеседники говорят о гендерных отношениях, социальной несправедливости, модернизации, проблемах возраста, болезни и т.д. и т.п., то оказывается, что у нас достаточно общего с каждым, чтобы строить нормальные продуктивные отношения и вести разговоры на интересные нам темы.

Правда, в некоторых случаях своим становиться приходится, иначе тебя в группу не пускают. При этом оценка антропологом собственной включенности в группу может кардинально отличаться от оценки информантов. Представители религиозной группы, особенно если она «не титульная» и небольшая, т.е. в ней невозможно стать невидимым, общаясь с исследователем, пытаются определить его позицию по отношению к ним, и валентностей всего две: враг или друг. Третий вариант — «равнодушный» — здесь определенно не подходит. Если человек регулярно ходит на богослужения, ему это зачем-то нужно. Зачем? Чтобы быть незаметной, я, например, стою, когда все стоят, сижу, когда сидят, слушаю проповедь и хлопаю



Жанна Кормина с нищим Геннадием у церкви св. Варвары, напротив входа в Псково-Печерский монастырь, май 2006 г.



Эмблема протестантской церкви, в которой проводится полевое исследование в настоящее время

вместе со всеми в ладоши. Но это себе я кажусь выполняющей некоторые этикетные требования; с точки зрения моих информантов, я славлю Бога. Значит, надо помочь мне преодолеть непонятный им барьер, может быть, робость, и сделать, наконец, счастливой. Ведь, действительно, вдруг завтра наступит конец света, а они мне так и не помогли спастись?

Попытки объяснить, что бывает интерес не экзистенциальный, а научный, оказывались в моем случае не особенно успешными. Я пытаюсь объяснить, что не ставлю своей целью познать Бога, поскольку, как и мои информанты, полагаю, что моя наука для этого не пригодна. Однако мои объяснения, что меня интересует не Бог, а люди, которые в него верят, вызывают непонимание. Они говорят мне, что я познаю Бога умом, и это тупиковый путь, познавать его нужно сердцем, т.е. путем личного обращения. И, по их мнению, мое обращение происходит. Или же я — враг.

Г.К. Оппозиция «свой/чужой» обычно определяет на начальном этапе стержень взаимоотношений группы и ее исследователя — представителя иной культуры. Вы приезжаете в изучаемую общину «чужой», но спустя какое-то время становитесь «своей»... Как происходило изменение образа «чужого» на разных стадиях общения? Удалось ли Вам наблюдать какой-либо процесс формирования самоидентификации членов группы через общение с Вами? Ведь «чужой» в процессе самоидентификации не всегда обязательно бывает негативным или враждебным. При условии, если этот «чужой» переосмыслен как мифический, он может воплощать «идеальное я». Или же, как еще один полюс идентичности,

он может быть нейтральным: «иной», «другой» и т.д.

[Вопрос Каарине] *Для очень многих людей в России Вы, вероятно, были первой иностранкой, с которой они повстречались в своей жизни. Как выстраивалось Ваше общение с ними?*

К.А. Я общалась со многими людьми в России, поэтому, думаю, на этот вопрос тоже существует много разных ответов. Одним из способов стать «своим» для меня явился совместный опыт, демонстрирующий, что «иностранец» — не обязательно настолько уж «чужой». Например, в походных условиях я разделяла условия жизни информантов, готовила еду на костре, рубила и собирала хворост для костра и ходила в сауну (баню) вместе с остальными.

Мои российские информанты постоянно обсуждают со мной свою национальную идентичность. Они то говорят об «отрицательных аспектах», например, о том, что в России меньше порядка, чем в Финляндии; то гордятся такими российскими чертами, как гостеприимство и красивые обычаи. Я замечаю также, что представление об «иностранцах» иногда бывает чисто иллюзорным, имеющим мало отношения к реальности, конструируемым в основном как собственное отражение. Большую часть полевой работы я проводила в Санкт-Петербурге, где жители довольно хорошо знакомы с Финляндией и финнами. Возможно, поэтому мне довольно трудно отвечать на вопрос о том, как общение со мной могло сказаться на идентичности собеседников.

Что же касается религии, то мне приходилось замечать, как в разговоре со мной верующие начинали более вдумчиво относиться к своей вере. Иногда по прошествии времени информанты давали более обдуманнные ответы на те вопросы, на которые им было трудно отвечать вначале.

Ж.К. Для религиозных групп — во всяком случае, тех, с которыми мне приходилось работать, — превращение в своего предполагает религиозное обращение. Светский, или секулярный, человек всегда остается чужим. Конечно, степень этой «чужести» со временем меняется: тебя начинают узнавать и приветствовать, называть по имени, может быть, даже молиться за тебя. У меня пока не было шанса пережить (видимо, волнующую) трансформацию из чужака в своего. Также в моей практике пока не было случая, когда мое появление в поле всерьез повлияло бы на самоидентификацию членов изучаемой мною группы. Вероятно, это связано с тем, что моя позиция как исследователя в социальном пространстве моих информантов всегда рифмовалась с какой-то уже существующей: внучки-студентки из города, приехавшей к бабушке на каникулы (во время этнографических экспедиций), или человека,

находящегося в духовном поиске (стадия религиозной карьеры, пройденная большинством верующих), или, на худой конец, журналиста.

Вообще мне известен случай, когда антрополог принял крещение в ходе полевого исследования и стал членом изучаемого им сообщества. Ему этот шаг не просто обеспечил вход в поле, он сделал полевое исследование комфортным. Однако, насколько я знаю, его обращение (до того он был христианином другого толка) было не просто инструментом для решения сиюминутных задач, оно стало частью его личной идентичности. Так что не только мы влияем на «поле», но и наоборот, конечно.

Г.К. Как Вы полагаете, какое влияние Вы (Ваше пребывание и работа) оказали на членов изучаемой группы?

К.А. В ходе моего исследования я довольно быстро отказалась от таких методов постмодернистской антропологии, которые предполагают, что исследование должно больше напоминать взаимодействие и обсуждение, чем наблюдение и описание. Я боялась, что, следуя этому правилу, я рискую превратиться в участника (или теолога) и, возможно, некоторые двери для меня будут закрыты. Одна из этических основ полевой работы антрополога заключается в том, чтобы всегда пытаться не нанести никакого вреда людям, которых ты изучаешь. В процессе написания статей я всегда задумываюсь о том, как деликатно изложить вопросы, которые могут скомпрометировать тех, кто стал объектом моего изучения, в глазах читателей. В других случаях я замечала, что мое исследование, напротив, может оказать некоторое позитивное влияние. Научное исследование может выступать в качестве зеркала, позволяющего людям увидеть самих себя более отчетливо.

Ж.К. Не знаю. О случаях существенных изменений мне не известно, и, честно говоря, я стараюсь минимально вмешиваться в жизнь людей, согласившихся говорить со мной, тратить на меня свои время и силы.

Г.К. Какое влияние оказывает работа «в поле» на Вас как личность и как антрополога?

[Вопрос Каарине] *Как жизнь и работа в России повлияли на Вас?*

К.А. Мне бы хотелось думать, что мое мировоззрение расширилось и теперь я чаще склонна признавать, что существуют разные образы жизни и различные способы делать одно и то же. То, что я в России одновременно больше всего ненавижу и люблю, — это коллективистский образ жизни и очень личная природа человеческих взаимоотношений. Будучи типичной финкой, я довольно робкая и недостаточно хорошо умею общаться с людьми. В России мне нравится теплота и сложность взаимо-

отношений, и, как мне кажется, я в какой-то степени научилась ценить щедрость этих отношений. Вместе с тем я также научилась получать удовольствие от независимости. В отличие от многих россиян, меня не смущает возможность путешествовать или поехать в ресторане в одиночку. С другой стороны, в России часто бывает трудно избежать «коллективизма». Например, в ресторанах я гораздо чаще испытываю потребность похвалить еду или сказать что-нибудь приятное официантке, чем в Финляндии или в Западной Европе. Объясняется это тем, что в России я никогда не являюсь безмянным клиентом, который просто платит, но личностью, и реакция людей или оказываемые услуги в большой степени зависят от индивидуальных свойств — принимают ли тебя за своего или нет. Это заметно во всех областях российской жизни. Мне вспоминается случай в электричке, когда две симпатичные девушки уговорили кондуктора не брать с них денег, поскольку они бедные студентки. Девушки не выглядели особенно бедными, и, с моей точки зрения, другие пассажиры могли бы возмутиться, что некоторым позволяют ездить бесплатно. С одной стороны, я восхищаюсь русским добросердечием и готовностью нарушить правила при виде нуждающегося человека. Вместе с тем меня огорчает, что общие правила и принципы справедливости нарушаются на каждом шагу по прихоти людей. Я упомянула этот случай потому, что он демонстрирует одно из тех характерных русских свойств, которые особенно сильно повлияли на мое социологическое и даже политическое мировоззрение.

Ж.К. Я не была бы антропологом, если бы не занималась полевой работой. Хотя мне приходится использовать для работы и самые разные письменные источники, без общения с живыми людьми — теми, кто создал эти документы, о ком или для кого они написаны, — мне трудно понять (или, точнее, почувствовать) интересующую меня проблему, у меня нет уверенности, что я верно поняла ситуацию, точно ее описала.

Г.К. Российские этнографы старшего поколения до сих пор вспоминают, какой переполох в начале 1970-х гг. произвела поездка английского антрополога Кэролайн Хэмфри в бурятский колхоз. При этом никто не сомневался, что за ней тогда был установлен негласный надзор. А как Вас принимали местные власти: оказывали сопротивление или помогли в работе? Каково отношение российских чиновников к Вашей работе в современной России?

К.А. Мне доводилось слышать душераздирающие истории о том, как чиновники изымали материалы интервью или učinяли допрос информантам после отъезда исследователя. Однако лично мне не приходилось сталкиваться с подобными, как, впрочем, и какими-либо другими проблемами. Моя работа

проходила в максимально неформальной атмосфере, поэтому местные власти никак не влияли на нее.

Ж.К. Стараюсь с ними не сталкиваться, никогда не хожу представляться. Однажды нас с латышской коллегой выставили из приграничной зоны, где мы проводили наше исследование по этнографии приграничья, и мы здорово испугались. Но, если честно, задержавшие нас пограничники были, пожалуй, правы: у нас не было разрешения на проведение исследования в такой зоне. Его действительно крайне трудно было бы получить (если вообще возможно), но сейчас уже я на них не держу зла. Вообще же я думаю, что мои исследования (и те, приграничные, и в области религиозности) не представляют интереса для российских властей. Это и грустно, и отрадно одновременно.

Г.К. Каждый «опытный» полевик знает, что этнографический стационар не имеет ничего общего с этнографическим туризмом. Полевая работа, особенно одиночные выезды, во многих регионах мира, в том числе и в России, таит в себе не только много интересного, но, помимо бытовых неудобств, и много опасного. Например, если изучаемая группа ведет полукочевой образ жизни в тайге, в тундре, в пустыне; проживает в районе межнациональных конфликтов или в зоне повышенной радиации. Какие проблемы и трудности встретили Вы в своей полевой работе? Как Вы их преодолевали?

К.А. Моя полевая работа в основном сводится к включенному наблюдению религиозных обрядов в городских условиях, поэтому она не связана с большими трудностями подобного рода. По сравнению с жизнью в тундре несколько холодных ночей, проведенных в палатке, — не повод жаловаться. Правда, однажды я участвовала в ритуале, который проводился в святилище, которое считалось «нелегальным» и было впоследствии ликвидировано властями. Во время проведения ритуала я узнала, что всего за несколько часов до моего появления милиция арестовала людей, которые защищали это святилище. Лишь позже я осознала, что я тоже могла оказаться среди арестованных, и оценила весь драматизм возможных негативных последствий для меня как иностранки, тем более что причиной для ареста (совершенно непредсказуемого) мог быть выдвинут экстремизм.

Ж.К. Весь мой полевой опыт довольно мягкий. Было немало моментов неприятных, но скорее психологически болезненных, чем действительно опасных. Самая большая, настоящая опасность в поле та же, что и дома, — неуправляемая пьяная агрессия, в отношении чужаков особенно ожидаемая и безнаказанная.

Г.К. А какие интересные случаи, занимательные истории из Вашей экспедиционной жизни Вы могли бы вспомнить?

К.А. У меня много замечательных и забавных воспоминаний. Например, мне удалось после посещения русской бани единственный раз в жизни поплавать в проруби покрытого льдом пруда. И произошло это в огромном городе — Санкт-Петербурге, в его северной части. А однажды российский коллега организовал для меня встречу с человеком, который много пишет о своей жизни и религиозных взглядах в Интернете. При встрече я сразу узнала его по фотографиям, которые я видела в Интернете, и поздравила его (инстинктивно и, возможно, необдуманно) с недавним вступлением в брак. Человек был озадачен тем, что за его жизнью «так внимательно наблюдают даже за границей».

Ж.К. Это случилось, когда я только начинала исследование православных паломников. Меня интересовали горожане, ездившие организованно из Питера на автобусах в паломничества выходного дня к сельским святыням или небольшим монастырям в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Это вообще была первая моя поездка с такими паломниками. Поехали мы вместе с одной коллегой, православным ренегатом, когда-то активной и просвещенной верующей, позже резко порвавшей с церковью. Нарядились в длинные темные юбки и платки. Автобус, отправлявшийся ранним майским утром от Казанского собора, был заполнен исключительно женщинами: оказалось, поездка была специализированная — ехали в Псковскую область к некоему старцу, который дает епитимью для замаливания греха аборта. Часть женщин ехала, уже выполнив назначенную епитимью, за разрешением прекратить назначенный пост и молитвы и решением старца о том, что грех отмолен. Все было нам чудно: жесткая авторитарность руководительницы поездки, коллективное чтение молитв и пение акафистов людьми, большинство из которых никогда друг друга раньше не видели, арендованный на время поездки священник, проводивший отпущение грехов прямо в автобусе. И, конечно, мы были особенно заинтригованы смелым старцем, который отпускает грех, считающийся непросщаемым.

Через пять-шесть часов пути в автобусе послышались робкие предположения о том, что едем мы не туда. На них строго шикнули, но еще через полчаса похожие опасения высказал и водитель автобуса. Остановились. Карты в автобусе не оказалось, дорога была пустынная и становилась все хуже, деревень вокруг не было. Было принято решение ехать дальше, до первого населенного пункта. Так и поступили, но приехали совер-

шенно не туда, куда собирались. Некоторые паломницы плакали. Когда среди части паломников стал подниматься бунт против организатора поездки, она, нимало не растерявшись, сказала: это произошло потому, что кто-то среди нас плохо молился. Тут нам с коллегой показалось, что все смотрят на нас и догадываются, что мы — ряженные. Это исключительно неприятное чувство — уличения во лжи.

Бунт был искусно усмирен. Нас не раскрыли. После этого я много раз ездила с паломниками, но старалась больше не попадать в силки собственного обмана. Я сформулировала для себя, благодаря тому неприятному переживанию, собственный принцип легендирования: не врать и не притворяться. Если меня спрашивают прямо, кто я такая, отвечаю, что исследователь. Не всегда такая позиция самая выгодная, но эмоционально она самая комфортная.

Г.К. [Вопрос Жанне] Как Вы полагаете, насколько реально в современных условиях, чтобы российский антрополог мог осуществлять проекты, подобные Вашим, работая в этнографическом поле за рубежом? Что для этого ему необходимо помимо желаний работать, хорошего знания языка и достаточного финансового обеспечения?

Ж.К. Не вижу разницы; некоторые мои младшие коллеги вполне успешно работают в поле за рубежом, от Грузии до Германии.

Г.К. [Вопрос Каарине] Как Вы считаете, может ли российский антрополог осуществить в этнографическом поле в Финляндии проект, подобный Вашему?

К.А. Не вижу никаких препятствий для того, чтобы русские коллеги выполняли подобные проекты в Финляндии. Конечно, можно встретиться с некоторыми финнами-руссофобами, но, я думаю, таких будет немного.

Г.К. Среди недостатков российской этнографии начала 1990-х гг. назывались, в частности, такие, как «явная феминизация и позднее становление исследователя». Согласны ли Вы с тем, что «половозрастная структура профессии влияет не только на эффективность научного труда, но и на выбор тем, постановку вопросов, исследовательский стиль и манеру оформления результатов»? Имеют ли какую-либо корреляцию, с одной стороны, пол и возраст исследователя и, с другой, «конформизм и бесстрастность; сентиментальная доверчивость и строгий скептицизм; глобальное теоретизирование и тщательная дескриптивность; и еще многие антитезы в исследовательском процессе»¹?

¹ См.: [Тишков 1992: 16–17].

К.А. Каждый человек обладает спектром идентичностей, таких как пол или возраст, внутри которых тоже возможно большое разнообразие: не все молодые люди одинаковы, это же можно сказать о мужчинах или женщинах. Как молодой человек может подходить к жизни весьма скептически и схоластически, так и пожилой мужчина может оказаться сентиментальным. С другой стороны, разнообразие самих исследователей является важной гарантией многостороннего и сбалансированного сбора информации по любому вопросу. Так, например, если исследованием какой-либо религии занимаются только женщины, то мужской опыт и точки зрения могут оказаться неучтенными. Как отмечено в самом вопросе, такое разнообразие также способствует появлению новых, свежих тем для исследования.

Ж.К. Да, я думаю, что пол и возраст исследователя в определенной мере влияют на выбор темы и ракурса исследования. Сейчас мы с моим мужем (Сергеем Штырковым, специалистом по антропологии религии) изучаем харизматические христианские общины в одном русском городе. Так естественно сложилось, что в иерархизированной общине с явным мужским доминированием работает он, я же делаю исследование в общине, где пастор — женщина и отношения как будто более демократичны. Мы по-разному берем интервью, строим стратегии исследования, выстраиваем отношения с членами общин, даже выбираем место для проведения интервью (меня приглашают домой, с ним обычно беседуют в церкви); при этом мы ведомы одними исследовательскими вопросами и работаем как команда. Посмотрим, что получится в результате; возможно, напишем что-то вместе.

Что касается сентиментальности и скептицизма, или, говоря более прямо, степени научности результатов (и стиля их представления), тут, по-моему, дело не в «женском письме» или ограниченных способностях. Мне кажется (как бы это сказать помягче), что женщине-ученому прощается невысокое качество академического продукта, а мужчине — нет. Неоднократно слышала в разных академических кулуарах о приоритете «эстетического» в женщине-ученом (мужской текст): «Ах, такая симпатичная, вся миленькая и приветливая, да еще и слова умные говорит!» Мне кажется, кое-кто ведется на это и, играя по мужским правилам, выполняет прежде всего эмоционально-эстетическую функцию в академическом сообществе. Кому-то это не мешает быть сильным ученым, а для кого-то становится главным способом и смыслом функционирования в научных кругах.

Что же касается феминизации, в англоязычной антропологии большинство ученых — женщины. Не знаю, о чем это говорит

в отношении антропологии как науки, но тут мы в русле мировых тенденций, все нормально.

Г.К. Селективная природа человеческого знания беспокоит представителей разных наук. В антропологических (и, шире, в гуманитарных) исследованиях проблема осложняется еще и тем, что ученый, познающий культуру иных сообществ и эпох, сам историчен. И от этого, как утверждает Адам Купер, антрополога не спасает даже метод включенного наблюдения. Есть ли у Вас свои рецепты преодоления селективного субъективизма в научном исследовании?

К.А. Объективность должна быть целью любого исследования, при этом нельзя забывать, что любое исследование субъективно. Как отмечали феминистские исследователи, вместо того чтобы отрицать объективность, ученым следует четко указывать и самим обдумывать собственную позицию. Из этого не следует, что все точки зрения равно хороши. В конечном итоге оценку работе дадут читатели и те, кому посвящено исследование.

Ж.К. У меня есть такой проверенный рецепт: совместное исследование с коллегой или коллегами, обладающими иным гендером или происходящими из иной научной традиции, или имеющими принципиально другой культурный опыт. Для меня первым таким опытом было совместное исследование приграничья с моей латвийской коллегой. Мы предпочитали разных информантов, задавали им разные вопросы, выбирали разные виды для фиксации на фотокамеру: скажем, в русском (когда-то населенном в основном латышами) селе я снимала по большей части лирические остатки барской усадьбы и сада, а моя коллега — разный советский трэш: бурьян перед непокрытыми двухэтажками или свалку. Когда в конце полевой работы мы обменялись фотографиями, я ясно увидела, что мы не просто видим разное, мы ищем в поле разное, отвечая на собственные внутренние вопросы — не только исследовательского порядка. И этот наш выбор задается нашей социальной позицией, представлением о роли ученого в жизни своей страны и не только этим. Для моей коллеги ее работа была одновременно выполнением благородной миссии: она была своего рода миссионеркой своего государства, в котором голос представителя академического сообщества может быть услышан. У меня нет подобных иллюзий.

Как известно, инструментарий антрополога — это он сам, т.е. его органы чувств плюс знание социальной теории, плюс собственный культурный опыт. Мне представляется, что требуется регулярная настройка этого инструментария, и происходит она во время общения и дискуссий с коллегами.

Г.К. Американская исследовательница Маргарет Паксон в своей книге «Соловьево: история памяти в русской деревне»¹ пишет: «Сила антропологического метода — в терпении!» Согласны ли Вы с этим очень интересным и неординарным наблюдением?

Ж.К. Полностью согласна. Стремление получить быстрые ответы может быть пагубно для исследования. Бывает, что стоит просто слушать собеседника. Случается, что на первый взгляд не имеющая отношения к делу тема может оказаться важной для понимания более общих вопросов. Включенное наблюдение позволяет обнаружить то, что обычно не обсуждается, поскольку считается, например, неприличным или неважным. Долговременное наблюдение иногда позволяет объяснить то, что вначале казалось странным или нелогичным.

Ж.К. Интересно, что именно Маргарет Паксон имела в виду: «терпеть» как способность ждать (когда, например, особенно желанный информант наконец согласится поговорить с исследователем или когда вас просто пустят в поле) или «терпеть» как готовность переносить разного рода дискомфорт, физический и психологический, иначе говоря, страдать? Вообще, оба вида терпения бывают полезны в антропологической работе (хотя, признаюсь, я склонна к минимизации страданий). Действительно, антропологическое исследование — дело постепенное. Мне думается, что залог успеха работы в поле — простое умение слушать и искренний интерес к собеседнику.

Г.К. Посоветуйте, пожалуйста, молодым антропологам (как российским, так и зарубежным), как им подготовиться для успешной полевой и научной работы в России.

Ж.К. Перед началом работы очень важно как следует обдумать этические аспекты, даже несмотря на то, что непредвиденные дилеммы обязательно будут возникать уже в ходе работы в поле. Кроме того, антрополог должен быть готов отдавать частичку себя тем людям, с кем он работает и которых он изучает. Это важно как с моральной стороны, так и полезно методологически. Например, есть шанс получить больше информации, если вы формулируете вопрос: «Я думал(а) так-то, а как вы думаете?» — чем, если вы прямо спросите: «Как Вы думаете?»

Именно в этом и заключается то, что я считаю самой лучшей «наградой» антропологической работы, — это роскошь общения с людьми и возможность учиться у них, расширять свои горизонты. Несмотря на всевозможные трудности или даже

¹ См.: [Paxson 2005].

неприятности, антропологическая работа в каком-то смысле всегда увлекательное «приключение». Вот почему полевые изыскания, на мой взгляд, можно рекомендовать и как метод, с помощью которого можно собирать уникальные материалы для исследования, и как занятие, которое часто является значимым и плодотворным опытом для самого антрополога и в научном, и в личном плане.



Купальская ночь, Ленинградская область, 2009 г.



Каарина Айтатурто в лодке. Купало, Ленинградская область, 2005 г.

Ж.К. Пожелание иностранным антропологам: не забудьте выучить русский язык. Пишутся, конечно, антропологические книжки про Россию (как и про другие страны и этнические группы) и без знания туземного языка, но это как-то непрофессионально. Российские антропологи, учите английский, это помогает выжить. Основные научные события (в антропологии, во всяком случае) происходят на этом *lingua franca* современного академического знания. Знание языка нужно не только, чтобы читать и, может быть, писать на этом языке, но и чтобы расширить свой доступ к разнообразным ресурсам, позволяющим обеспечить свое существование в науке, — грантам, стажировкам, участию в международных проектах и т.п.



Конференция по паломничеству в Сантьяго де Компостела.
Ellen Badon, Jackie Feldman, Jeanne Kormina; Испания, декабрь 2010 г.



Сергей Штырков и Жанна Кормина на конференции Европейского университета в Санкт-Петербурге «ВДНХ-3», 2009 г.

Что еще? Заводите друзей. Зарубежным антропологам очень полезно иметь друзей среди местных ученых, которые могут играть роль экспертов и обеспечивать в случае необходимости (а она обязательно возникнет) «культурный перевод» — разъяснение очевидного им как носителям культуры, но непонятного для чужаков. Друзья в поле тоже нередко образуются, здесь это происходит само собой, не требуются особые усилия. Такая «полевая дружба» выполняет не только сугубо инструментальную функцию перевода, о которой я уже написала, но и не менее важную роль эмоциональной поддержки. Любое полевое исследование эмоционально затратно, и дружеское участие во время полевой работы делает ее более комфортной и продуктивной.

Г.К. Благодарю вас за участие в интервью.

Библиография

- Басилов В.Н.* Этнография: есть ли у нее будущее? // Этнографическое обозрение. 1992. № 4. С. 3–17.
- Комарова Г.А.* Антрополог — это очевидец // Антропологический форум. 2011. № 14 Online. С. 235–268.
- Комарова Г.А.* Женский портрет в научном интерьере // Антропологический форум. 2007а. № 7. С. 312–326.
- Комарова Г.А.* Уважение к респондентам — важнейшая заповедь исследователя // Этнографическое обозрение. 2007б. № 2. С. 119–131.
- Тишков В.А.* Советская этнография: преодоление кризиса // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 5–20.
- Raxson M.* Solovyovo: The Story of Memory in a Russian Village. Bloomington: Indiana University Press, 2005.